

ВОСПОМИНАНИЯ

Листопад

В. К. Иков

III. О далеком, но всегда близком

И я один с моей тупой тоскою
Хочу познать себя и не могу —
Разбитый челн, заброшенный волною,
На безымянном диком берегу
(Ф. И. Тютчев).

У Толстого где-то, кажется в «Воскресении», брошено меткое замечание: в России в революцию шли или лица, стоявшие значительно выше среднего морального уровня по своим запросам и требованиям к жизни, или люди, находившиеся много ниже этой невидимой, но всеми ощущаемой черты... Думаю, что так дело обстояло везде и всюду, не только в России. Но эта сторона меня сейчас не интересует. Замечание Толстого, почти не соприкасавшегося в широком личном опыте с революционной средой, говорит лишний раз об остроте интуиции и прозрения этого несравненного знатока людской психологии. Когда я делаю попытку прикинуть его критерий к тому человеческому материалу, с которым я имел дело столько лет, я вижу оба полюса, указанные Толстым. Это не значит, что не было промежуточных ступеней, переходов, оттенков. Были. Но типичными, преобладающими, характеризующими весь круг являлись именно эти группы.

Разумеется, импульс, бросавший в такое, временами довольно опасное и всегда очень беспокойное предприятие, как революционная работа, совершенно различных людей, — этот импульс неоднороден. Но есть одно общее: более или менее ясное, более или менее сильное, более или менее осознанное неприятие данного порядка, недовольство окрест лежащей жизнью в сочетании с решимостью пойти против, с мужеством преодолеть земное тяготение, инстинкт самосохранения, страх испытаний и потерь. Часто это все происходит стихийно, в неудержимом порыве моментного увлечения или под действием магической силы социального подражания. Но всегда наступает момент самопроверки, взвешивания, подведения баланса и окончательного выбора.

* * *

Cada persona es uno mundo — говорят испанцы, т. е. всякий человек — особый мир, или чужая душа — потемки. Трудно разобраться поэтому в мотивах, влекших людей на такой, далеко не усыпанный розами путь. Одних толкали так наз. низменные побуждения, других — т. наз. высокие. Но так как в потемках души ничего не прочтешь, то определять этическую физиономию того или другого товарища мы избегали. Не берусь за это и я.

Продолжение. Начало см. «Вопросы истории», 1995, № 8.

Но позволю себе кратко остановиться на другой стороне — на диапазоне духовных потребностей ссылки, на ее интеллектуальном лице. Да и не только ссылки, а и в известной мере всего подполья.

Невольно сразу всплывает старый, набивший оскомину афоризм Козьмы Пруtkова: «Специалист подобен флюсу». Подполье — это специальность. И в его пределах совершался и естественный отбор с известным односторонне направленным вниманием, и искусственный, естественный отбор специфических экземпляров людской породы. Это фатально, и напрасно стали бы возражать против этого вольтерьянца. Так было всегда во всяком подполье. Другое дело, что это отнюдь не вызывает восторга, у меня по крайней мере. Я не раз отмечал в разных местах этой книги ограниченность и узость кругозора моего поколения, поскольку, понятно, речь идет о среднем типе или уровне. Люди годами упражняют какой-нибудь один свой орган; остальные, естественно, хиреют, слабеют, атрофируются. Политика вытесняла все прочие потребности или, во всяком случае, низводила их на роль своих служанок.

Вот почему моя среда зачастую казалась со стороны скучной, однотонной, плоской. И нередко она отталкивала своей скудостью и однобокостью людей молодых возрастов, которым инстинкт подсказывал, что человеку нужен весь мир со всеми его красками, звуками, тонами, нюансами, со всем обилием его противоречий, различий, конфликтов. И многие уходили от нас. И вовсе не потому, что это были птенцы дегенерирующей буржуазии, это — трафаретная ложь, а потому, что не всякому дано осилить жизнь, тусклую, как одиночное заключение, тесную, как прогулочные клетки Дома предварительного заключения. Но, ассимилировавшись в нашем обществе, подвергшись его влиянию и обработке, юные души, что тоже вполне закономерно, сами горели тем же огнем односторонней страсти. И в этом пламени сгорало постепенно все, кроме одного напряженно сектантского интереса к запросам своей колокольни.

Если, например, в Иркутске, в доме О. Н. Доллер, не умолкали разговоры о каторге и ссылке, и именно эти темы заполняли все свободное от житейской прозы время и составляли всю поэзию, весь пафос ее жизни, то мало чем отличались от них беседы и более молодой публики. Она тоже была одной грани. Она тоже скучала вне привычной для нее обстановки споров и высказываний вокруг одних и тех же вопросов и представлений. Так мысль и воображение запойного курильщика, бросившего курение, все время возвращаются к папиросе; так отказавшийся от карт игрок тяжело переживает навязчивые кошмары ставок, больших выигрышей, проигранных сумм.

Никогда не забуду, какое убогое впечатление осталось у меня от прений на реферате Церетели о «Трое» Горького в Иркутске. Так элементарна была мысль докладчика, так плоско высказывания «стариков». Потому что речь шла о литературе, о той области, где каждый считает себя вправе сказать свое слово, но где царят такая беспомощность суждений и такое отсутствие чутья как раз у тех людей, которые более или менее удачно ставят и намечают решение вопросов в знакомых им сферах социально-политических проблем. А когда речь зашла о мнимо знакомых им явлениях духовной культуры, ничего кроме трафаретных публицистических оценок они предъявить не сумели.

Не хочу, чтобы здесь увидели какой-то упрек с моей стороны по адресу моих друзей и товарищей. Говорю не в суд и осуждение, а в целях уяснения реальной картины прошлого, как она рисуется мне теперь. Я и сам нередко превращался в такого же флюсоидного, сухопарого, если не мастера, то подмастерья красного цеха. Но я обычно страдал от этого, видя, что душа моя дурнеет, сохнет, выцветает, как портрет Дориана Грея. Но это, вероятно, потому, что, дилетант от рождения, я всегда оставался политеистом. А в итоге, подобно толстовскому Сахатову в «Плодах просвещения», был всегда «ничем не занят и всем интересовался». Другие, настоящие, целеустремленные революционеры, наверное, были счастливее.

* * *

Серьезные запросы. Большие требования... Я как-то вспоминал и размышлял про себя о былом, находясь снова — потеряв счет! — за решеткой, в тюрьме в 1934 году. Сверху доносилось до меня стройное трио: они пели толстовских «Колодников», пушкинского «Узника». Рядом, в уборной, мужчины вопили анархистскую «честь Раваполо, Марату — слава!». Я протер глаза, с силой ушибнув себя за щеку. Где я? Какой теперь год? Эти же песни пели и мы 30 лет назад. Да что! Хуже того: их пели наши отцы, меря скованными в железо ногами бесконечную Владимирку. Боже, как устойчив, однако, базис! И мудрено ли, что все запросы и требования легко укладываются в небольшой ларчик. Но, вот, поди-ка, открой его. Это только в баснях он открывается «просто».

И я продолжал думать дальше в предраассветной полумгле камеры: когда у Толстого в 1862 г. сделали по ложному доносу обыск в Ясной Поляне, первый (и единственный за 82-летнюю жизнь), он впал в бешенство, хотел эмигрировать, написал жалобу царю. При таком самоощущении, да еще в положении светоча мира, нетрудно холить какие угодно запросы и предъявлять любые требования к жизни. А вот Дионео [И. В. Шкловский] в своих сибирских записках рассказывает, что, находясь в Н. Колымске в ссылке, они воровали у колониального старосты для еды сальные свечи и пополняли таким путем острый недостаток жиров. Можно ли удивляться, что после 5—10 лет такого усиленного питания их запросы и требования к жизни упростились и суживались до микроскопических размеров? Но раз жизнь, так наз. жизнь культурных людей, ничем не отличалась от среднеколымской юртной эры, неизбежны атрофия излишних в этой обстановке струн человеческой души, гипертрофия других и возникновение особых политических условных рефлексов. Они быстро вытесняют все остальное.

* * *

Запах махорки всегда, по закону смежности, вызывает у меня с острой силой в памяти мотив романа «Стонет сизый голубочек». И затем следом всплывают перед глазами нары Ачинской тюрьмы и сибирских каталажек на пути в Минусинск в декабре 1914 года. Вряд ли думал когда И. И. Дмитриев, забытый автор этой песенки, что его чувствительное стихотворение, одно из первых созданий русского сентиментализма, станет любимым вокальным номером каторжан. И я вижу небольшую камеру, группу сахалинцев и зерентуйцев, утопающих в волнах махорочного дыма; вижу себя, единственного «политика» среди этих многоопытных и все переживших жиганов и иванов. Явственно слышу грустный напев, горестные слова о голубочке, который умирает от любви к миленькому дружку, навсегда от него отлетевшему. И все 18 суток пути идут за мной, словно преследуя, причудливо переплетаясь в страшные образы и видения, и этот почти погребальный мотив, и этот своеобразный суррогат ладанного аромата, запах крепкой махорки.

С тех пор прошло 18 лет. Но все так же, точно заколдованный, я не могу ни вытравить никакими духами этого пропитавшего насквозь все мое существо табачного дыма, ни заглушить ничем звенящую во мне трагическую жалобу одинокого голубя. Они сильнее, прочнее, непоколебимее всех запросов и требований. «Умрешь — начнешь опять сначала, // И повторится все, как встарь: // Ночь, ледяная рябь канала, // Аптека, улица, фонарь». Чаепитие в русском обиходе — великое дело. Во всяком случае, так было в старину. Любила чаевничать и ссылка. Так хорошо попарить косточки за столом вокруг самовара, в облаках пара и табачного дыма. И сквозь медленно тающую его пелену проступают неясно какие-то тени. Я всматриваюсь внимательно, они светлеют, делаются рельефнее, и я узнаю лица некогда хорошо мне известных и близких людей.

1.

После отъезда сильных мира сего — светлейшего князя и генерал-губернатора, некоторым из нас разрешили жить в Красноярске. Таких набралось человек 9—10. Остальные куда-то разбрелись, даже не представляю, куда. Помню лишь, что Позерн перевелся в Ачинск. Мы втроем (Глебыч, Витя К-ов и я) поселились вместе. Неподалеку от нас устроился Вася О., наш každодневный гость. Помню забавный инцидент: по неопытности мы взяли две прекрасные комнаты у каких-то весьма приветливых туземцев. Смущало лишь странное, чрезмерно «носовое» произношение обоих супругов. Встречаю Гуковского: «Ну, как? Где устроились?». Сообщаю ему адрес и все детали. Он в ужасе: «Да ведь это бывший жандарм и сифилитик. Если Вы хотите, чтобы мы бывали у Вас, немедленно меняйте квартиру!». Пришлось покориться, и вот тогда-то мы и нашли ту квартиру в верхнем этаже, куда лазали по водосточной трубе.

Нашей соседкой оказалась ученица фельдшерской школы Надя Либерман. Вскоре к ней приехала из Томска ее сестра Лена. Быстро установилась дружба с ними, а через них и знакомство с красноярской молодежью. Из прочей нашей публики я ближе всего сошелся с двумя московскими курсистками: Лизой Нейгебауэр (Костяковой) и упомянутой выше Клавдией Зотовой (Бердичевской). Первая одно время входила в мой кружок. К сожалению, знакомство мое с ней продолжалось недолго. Она вскоре вернулась в Москву, и мы, казалось, навсегда потеряли из виду друг друга. И вдруг в 1930 г., незадолго до ареста, я случайно столкнулся с ней на Петровке. Всех лет как не бывало! Все та же Лиза, только посолдневшая и переменившая прическу. Наспех, на ходу поговорили *de omnibus rebus* (о всякой всячине), я взял ее адрес, но не судьба! Зайти к ней уже не довелось.

О Зотовой скажу, может быть, больше в свое время. А сейчас мне хочется, хотя бы очень бегло, познакомить вас, о мои гипотетические читатели, с моим другом Витей К. Это самый подходящий момент: недолгая совместная жизнь в Красноярске была временем нашей наибольшей интимной близости, тех отношений, которые и дают мне право употребить столь ответственное слово — друг.

2.

Мы познакомились с ним в Москве, через дядю С. И. Киреевского, упомянутого выше студента Петровской академии, Николая Семеновича Андреевского, в просторечии «магната». Они были с Витей однокурсники, сошлись на почве академических и общественных дел, хотя и принадлежали к разным кружкам. Магнат, как и полагалось кающемуся дворянину, был народником. Отпрыск богатой сибирской торгово-промышленной семьи, архибуржуазной, Витя К-ов стал с.-д. Магнат затащил его как-то к нам, и он быстро здесь обжился, подружился со всей публикой и завоевал всеобщие прочные симпатии, в частности у «бабушки» Анны Семеновны, что было очень нелегко при ее разборчивости, строгости и крайнем скепсисе. Словом, к моменту ареста Витя считался четвертым ее «внуком» и равноправным членом нашего довольно беспутного общежития.

Мы были почти погодки, но он оказался намного взрослее, старше, серьезнее. Мне всегда чудилось, что им было пережито что-то большое, значительное, тяжелое, что навсегда оставило тень на душе и словно притупило в нем остроту чувств и мировосприятия. Он был всегда замкнут, немногословен, несколько не то что нелюдим, но отъединен от людей. Кое-какие обстоятельства его личной детской жизни, известные мне, до некоторой степени объясняли эту его раннюю надломленность. И всегда, даже в дни нашей тесной близости, я избегал всяких расспросов, боясь неосторожно разбедить какие-либо свежие, еще ноющие места. А он не из тех, кто охотно *urbi et orbi* (граду и миру) демонстрирует свое нутро. Наоборот: надо было совместно съесть с ним не один пуд соли, чтобы услышать и те скудные рассказы о себе, которыми он делился со мной. И, может быть, ему много легче жилось бы, если бы я сумел, а он смог, уничтожить то средостение, которое все же стояло меж нами даже в Сиби-

ри. Но оба мы, очевидно, неспособны на безудержные и откровенные исповеди.

И все-таки, хотя все ясно ощущали присутствие неясной тени рядом с ним, хотя и был он так непохож на нас своими привычками, манерами, строем жизни, — мы быстро привыкли к нему и сдружились с ним. Причина не только в общности интересов и политических симпатий: нас подкупал его чистый, твердый, надежный и высокоморальный характер. Увидав В. один-два раза, хотелось ввериться ему, закрыв глаза, на всю жизнь. И вместе с тем, от этого ригоризма и строгости нравственного облика вас не морозило, не томило. Он был не только очень умен и наблюдателен, но и до крайности чуток и деликатен по отношению к другим, мягок и терпим к грешникам. Тем не менее, его, и совершенно зря, немножко побаивались и стеснялись, и здесь одна из причин, почему он туго сходил с людьми и, видимо, всегда лишь до известного предела: замкнутость и щепетильность воспринимались, как сурово холодная требовательность к людям. А этого не было.

Мы хорошо прожили с ним в Красноярске. И только скитальчеством своей жизни я объясняю то обстоятельство, что мы позже утратили былой контакт. В 1904-5 гг. он по мобилизации попал на войну, был ранен и благодаря неудачной операции остался на всю жизнь слегка хромым. В разное время, в свои наезды в Москву (в 1906-7, в 1909-11 гг.) я всегда возобновлял знакомство с ним, мы бывали друг у друга, о многом беседовали, вспоминали старое, и он не раз оказывал мне немаловажную и разнообразную помощь. Иногда мы переписывались. Но жизнь так бросала меня из конца в конец, что невольно рвались самые прочные дружеские узы, и я постепенно терял все старые связи и знакомства. Так случилось и тут: я не знаю, что случилось в конце концов с Витей. Одно время он жил у меня на родине в Тюмени, руководил реальным училищем, вообще ушел в культурную работу. Больше я ничего не слышал. И остался навсегда какой-то горький осадок на душе: точно что-то не завершено, не доделано, на что-то не отвечено. Однако вернуть прошлое ведь нельзя. Да и зачем?

3.

В старину никто так не любил сниматься, как ссыльные. Только гарнизонные солдаты и команы городских соперничали с нами в этом отношении. Когда-то у меня имелась довольно большая коллекция самых разнообразных фото, составившаяся за три мои ссылки. Каких только комбинаций не запечатлели эти снимки: группы целено-колонийные, фракционные, групповые, сочадцы и домочадцы, индивидуальные портреты, интимные карточки и т. п. Из этого богатства почти ничего не сохранилось, все порастеряно за годы арестов, обысков, переездов из города в город, нелегального положения и т. д.

Уцелела случайно очень мне дорогая небольшая группа, относящаяся к зиме 1902-03 гг.: М. Л. Хейсин, Л. С. Меерович, И. И. Девенишский и я. Во многом разные по возрасту, прошлой жизни и занятиям, мы все сходились на большом интересе к некоторым теоретическим проблемам довольно-таки абстрактно-метафизического покрова. Это и дало повод кому-то из приятелей-зубоскалов назвать наш групповой портрет «четыре философа». Под такой кличкой и знали его колонисты. [В семейном альбоме старшего сына В. К. Икова, ныне покойного Сергея Владимировича Икова, сохранилось несколько снимков, относящихся к этому периоду жизни В. К. — прим. публикатора].

Философом без кавычек, несомненным мыслителем по задаткам, *in spe* (в ожидании будущего), был, конечно, только Л. С. Меерович, студент-юрист IV курса, позже переводчик Фихте, Шеллинга и др. Человек солидной специальной эрудиции, хорошо владевший языками, он выделялся силой и тонкостью интеллекта и редкой самостоятельностью мышления. Вспомню его немногочисленные публичные выступления в Красноярске, наши личные беседы *à part* (на стороне). Слушать его было наслаждением. Его настоящая, глубинная ученость не была для него ядром на ногах каторжни-

ка, она не подавляла ни его, ни слушателя. Она была как картина, которая, по меткому слову Уайльда, хороша только тогда, когда про нее можно сказать, что она совсем не написана. Мастерство анализа, тщательность логической конструкции, ясность мысли, точность словесного оформления превращали его речь и частные разговоры в нечто эстетически ценное и многозначительное.

Не могу обойти молчанием двух эпизодов, относящихся к позднейшим годам. Проживая в 1906-07 гг. в Москве нелегально, я часто занимался в Румянцевской библиотеке, где почти всегда встречал в один и тот же час Мееровича. Я как-то поинтересовался, над чем он работает. Оказалось, что в перерыве между своими «хлебными» занятиями он забегает сюда на часок «пробежать для отдыха несколько страничек из Платона» (конечно, в подлиннике). В 1910-11 гг. общие приятели передавали мне, что Мееровича, молодого тогда юриста, часто приглашают в качестве консультанта и эксперта при решении наиболее сложных и запутанных юридических контрверзов, особенно в тех случаях, когда от них в отчаянии отступаются самые мудрые головы опытных правоведов. Зная Мееровича, я нисколько не удивлялся этим рассказам.

Что дали этот гибкий, отточенный ум, эта богатейшая культура, эта огромная работоспособность? Не знаю. Боюсь, но кажется, что все это так и осталось почти нетронутым, непроизводительным капиталом, если не считать упомянутых выше образцовых переводов за скромными инициалами Л. М. Впрочем, я не встречал Мееровича после 1907 г. и ничего не знаю о его работе за последние десятилетия. Краем уха слышал, что с 1915 г. он живет в Лондоне. Почему итогом всех благоприятных задатков и предпосылок лег роковой нуль, ответить на это я не берусь. То ли еще знала наша русская действительность!

Организатор союза еврейских щетинщиков, очень недурной оратор, весьма неглупый и дельный самоучка И. И. Девенишский, человек большого темперамента и размаха, рано сошел со сцены и умер в молодых еще годах, вскоре после 1904 года. В Красноярске он по праву считался лидером бундовцев и пользовался среди своих товарищей непререкаемым авторитетом. Этому отчасти, вероятно, содействовали и его манера держаться таким оракулом и баловнем, и отчетливо выступавшая властная самоуверенность. Он мог сказать о себе: «бундовец *sum et nihil bundowskoe a me alienum esse puto*» (я бундовец, и полагаю, что ничто бундовское мне не чуждо). Ничто: ни положительное, ни отрицательное — деловитость и эмпирическая ограниченность. При этом у Д. все эти черты проявлялись лишь при обсуждении вопросов политической жизни, задач партии и организационных дел. Вне этого он отличался как раз, по сравнению с другими, бесспорной широтой мышления и отсутствием узкого догматизма.

Не могу сказать, каково было его место в Бунде. Его знали многие, в чем я не раз позже убеждался, но он не был в первом десятке вождей, руководителей и теоретиков Бунда. Хотя, на мой взгляд, он очень и очень мог бы постоять за себя перед лицом первоприсутствующих. Впрочем, я точно не уверен, что мои представления о его положении в партии и пр. вполне совпадают с действительностью. Должен признаться еще: в его резко критических отзывах об «искровстве», в этих суждениях практика более или менее массового рабочего движения имело немало зоркости и прозорливости. Но я оценил это много времени спустя, а тогда я презрительно фыркал по его адресу за сей провинциализм и смотрел на Д. немного сверху вниз.

4.

Меерович скоро распростился с Красноярском. С Девенишским особой личной близости у меня не установилось. Иначе обстояло дело с М. Л. Хейсиным, ныне покойным. С ним связывало меня кровно и неотрывно очень многое: и личное, и общественное, и внешние нити, и внутреннее созвучия. Десятилетия заняла эта наша ничем не омраченная дружба. Оглядываясь назад и вижу, как многим обязан я этому человеку: пожалуй,

после отца и шурина никто не имел на меня такого влияния. Высоко квалифицированный дилетант в подлинном, благородном смысле этого слова, дилетант по натуре, по складу ума и характера, Хейсин всегда удивлял беспокойной подвижностью мысли и неиссякаемостью энергии. Все интересовало его: искусство и кооперация, политика и психиатрия (предмет его научной специальности), философия и профессиональное клубное движение. Он нигде не оставлял неизгладимого следа, но, вечный юноша, горя и увлекаясь, начиная и не кончая, он всегда волновал, разжигал умы и сердца, и вслед за ним всюду врывались волны свежего воздуха, сметающие косный застой и безделье.

Это невесомо? По-моему, такой дар «томов премногих тяжелей». Его замыслы и планы зачастую оставались метерлинковскими неродившимися душами. Но постоянно вокруг него все кипело, к нему тянулись люди, в особенности молодежь, за личным советом, за указаниями о совместной работе и борьбе. Через какую-нибудь неделю знакомства я ощущал свою прочную припаянность к этому бодрому, отзывчивому товарищу, интеллигенту-общественнику *au bout des ongles* (до кончиков ногтей). И так было со всеми, ибо во все стороны излучал он греющую и светящую эманацию. Внимательный читатель и любитель литературы, поклонник искусства, серьезный ценитель философии, он делал все с тонким вкусом и пониманием. В интересных беседах он всегда охотно делился с нами материалами, новостями и своими наблюдениями и мыслями в этих областях.

Его марксизм не походил на черную сутану инквизитора, на жесткую власяницу сухого постника, в которой, как в отравленной Деянирою одежде Геркулеса, сохли, коробились и гасли бы сложная противоречивость и красочная пестрота мира. И еще: он никогда не стеснялся признаться в незнании чего-либо, в ошибках, в неясности ему самому того или другого вопроса. Это — бесценное и крайне редкое качество. «Дайте русскому мальчику географическую карту, которой он никогда и в руках не держал, и он тотчас вернет вам ее переделанной». Эти слова Достоевского попадают не в бровь, а прямо в глаза многим и многим русским марксистам. В России, как нигде, марксизм против воли освобождал людей от сомнений и поисков, страховал их от ошибок, утверждал их в надменном сознании, что вся истина у них в руках вместе с универсальным ключом ко всем загадкам.

Тем дороже и полезнее были эта смелость и честность Хейсина, открыто признававшегося: «Я этого не знаю», «я тут что-то напутал» и т. д. В нем не было никогда папешской непогрешимости и олимпийского всеведения. Зато в нем имелось много искреннего интереса и внимания ко всякому человеку, как к *Ding an sich* (вещи в себе). В глазах наших старших товарищей люди, как общее правило, казались важными только как винтики общественной машины, как гайки партийного аппарата, как орудия прогресса, словом, как объект и средство. Хейсин, поклонник Ницше с его учением о человеке-мосте к сверхчеловеку, на практике вел себя как самый мелкобуржуазный, презренный кантианец, видевший в человеке всегда лишь цель. Этому нас не учили. Напротив: мы довольно-таки беззаботно относились к живой данной индивидуальности и равнодушно смотрели на ближних, глядя через их голову в страну дальних. Таким узнал я Минея 30 с лишним лет назад, таким пребыл он до конца. Он сходил в могилу психически больным, сломленным, измученным. Но, пока теплилось еще в нем сознание, пока не померк совсем его разум, он по-прежнему волновался, мыслил, любил, боролся. Ему можно только позавидовать.

Жизнь обычно несет разочарование во всем, в людях и, что еще хуже, в самом себе. На этом тяжком, грязном жизненном пути день ото дня теряется чистота помыслов и намерений, отмирает юношеская влюбленность в мир, выветриваются вкус к окружающему и детская искренность и доверчивость. Начинается зато пристрастный пересмотр былых симпатий и антипатий, они нередко меняются местами, а в итоге от всего прожитого остается какой-то серый удушливый пепел, как при извержении Везувия. А вот готов биться об заклад, вряд ли найдется кто-нибудь из близко

знавших М. Л., в ком произошла бы в результате наблюдений переоценка его. Нет, здесь не может быть места разочарованию! Я и сейчас люблю его и уважаю, словно и не было этих 30 лет. Ни на один штрих не изменилась моя высокая оценка этого человека. И я всегда буду помнить эту утрату и, думая о нем, остро ощущать боль этой вечной разлуки и чувствовать ничем не заполненную пустоту.

5.

Оля Вольфсон. Ее брат М. Б. Вольфсон был видным бундовцем, потом стал коммунистом, автором популярных работ по политэкономии и политграмоте, ряд лет работал в редакциях Малой Советской Энциклопедии и Большой Советской Энциклопедии. Погиб нелепо, попав под дачный поезд в 1930-е годы. Она маленькое худенькое существо, такое маленькое, что ее можно было, как ребенка, носить на руках. Да она и напоминала всем своим стилем, фигурой, обликом тонкого красивого лица, всеми повадками и привычками не то грациозного котенка, не то еще не умеющую как следует ходить девочку. По болезни легких ей разрешили перебраться в Красноярск с Ангары, где она провела первые три года ссылки. Я встретил одновременно у Хейсина ее и Белевского-Белорусова, и, признаюсь, первое впечатление от обоих было весьма неблагоприятным. Но если оно осталось неизменным в отношении Белевского, а здесь я не дал подкупить себя блеском дарований и ума, то через 2—3 недели мы стали с Олей друзьями, коих водой не разольешь. А она и не пыталась ничем подкупить, хотя и имела очень много даров природы за душой.

Чудесный этот человек ушел из мира совсем рано: после погромов 1905 г. она уехала в Америку и там вскоре умерла от родов. Не часто сходят на землю люди, соединяющие четкий ум с самоотверженным, горящим сердцем. Такова была Оля. В юности она, будучи работницей-модисткой, ушла в революционное дело в Николаеве, получив по одному процессу с Троцким и другими четыре года Сибири. Живя всецело интересами рабочего движения, борясь с сжигавшей ее и приковавшей к ссылке болезнью, она все свое время и все свои силы отдавала партии и друзьям. А кто мог не дружить с ней? Но к ней шли не только из-за ее отзывчивости и всегдашнего печалования о ком-нибудь: она была умна, остра в своих наблюдениях и оценках, начитана и знала жизнь.

Она крепко дружила со мной в 1903 году. Вместе с ней после побега Пайкеса мы кипели, как в котле, на организационной работе, потом она проводила и нас в дальний путь, оставшись доживать срок в Красноярске и шепетильно неся свои опекунские функции в отношении нашего малыша. Я больше не видел ее. Но никакие дальнейшие знакомства и привязанности никогда не могли вытеснить из памяти образ милой маленькой Оли.

Нет в живых и другой нашей приятельницы, Тани Аркусовой-Персон. Давно покинула она нас. Приехав после революции 1905 г. в Петербург, она нашла здесь неожиданную смерть вместо долгожданной работы в рядах с.-д.-тии. Она пришла в Сибирь с мужем Самуилом Персоном откуда-то с Запада по бундовскому делу. Весной 1903 г. я привлек ее к комитетской работе. Все сходило достаточно удачно с рук, но и на старуху бывает проруха. Однажды ночью, нежно прижавшись друг к другу, этакой влюбленной парочкой шатались мы по городу, пряча под полую ведро с клеистером и пачку прокламаций «Сибирского Союза». Через несколько дней меня арестовали и предъявили для опознания двум ночным сторожам. Я их сразу вспомнил; они меня не узнали или не захотели признать. Вслед за тем в тюрьму привезли мою знакомую, ученицу фельдшерской школы, по подозрению в совместной со мною (или вообще с каким-то мужчиной) расклейке прокламаций. Очевидно, сторожа, ошибочно опознавшие ее, запечатали в своей памяти сходственные и может быть даже общие контуры лица. Напуганная насмерть и вообще-то очень нервная девица заявила, что тут недоразумение, результат ее рокового сходства с другой. Стали допытываться фамилии ее двойника, и она, после долгих запырательств и отказов, назвала Таню. Странная игра природы погубила обеих.

Аркусская отличалась редкой красотой, грацией, изяществом; Х. (опускаю фамилию) была недурна собой и при беглом взгляде, особенно при подслеповатом освещении красноярской Малой Качи в старое время, действительно могла напомнить чем-то, ростом, окраской волос, общим *habitus* (наружностью) и т. д., Таню. К тому же обе еврейки.

Жандармерия поступила по совету пушкинской Василисы Егоровны: «разбери Прохорова с Устиньей, кто прав, кто виноват. Да обоих и накажи». Невольные полублизнецы, отсидев положенный срок, получили по три года Якутской области. В бесконечно благородном сердце Тани не нашлось осуждения для несчастной Х. Она возилась с ней в тюрьме, на этапах, кажется и в ссылке. Вот это чистое, беспримесное золото души и было основной приметой Тани, ее движущим началом. По правде говоря, я никогда не знал, да и не интересовался этим, умна ли она или нет, много ли читала, твердо ли усвоила «Отче наш» и Богородице дево, радуйся» (извините: «Коммунистический Манифест» и «Эрфуртскую программу»). Но я хорошо знал и все на сотни верст кругом знали тоже, что во всех случаях общей опасности, несчастья, горя, тревоги Таня будет впереди всех.

Эта, на взгляд начетчиков и комментаторов немудрая, дева наполнила свой светильник раз навсегда, и он никогда не оскудевал у нее, несмотря на всю щедрую расточительность хозяйки. На баррикаде, у постели больного товарища, на чумной эпидемии, в тайной типографии или в динамитной мастерской Таня спокойно, просто, не задумываясь и не рисуясь, отдавала бы в случае надобности без колебания свою жизнь. Такие люди, обычнее всего такие женщины, встречаются, кстати, гораздо чаще, чем принято думать. Но так как они молчаливы, лишены чувства рекламы — этого шестого чувства современности — и сосредоточены в себе, то мы их не замечаем.

6.

Исидор Эммануилович Гуковский занимал в колонии почетный пост старейшины и своего рода арбитра нравов. У нас был свой неписанный моральный и житейский кодекс должного, возможного, предосудительного — с точки зрения интересов революции и партии. Эти исподволь слагавшиеся нормы поведения в известной мере были весьма полезны, особенно для молодежи, и в частности при неизбежной наклонности всякого подполья зацветать нечаевщиной. И всегда в колониях имелся хранитель и толкователь этих традиционных правил и регулирующих указаний. Гуковский не был ни самым старым среди нас по возрасту, ни самым давним по сроку ссылки. Но давно замечено, что есть люди, которые так и рождаются с венчиком неоспоримой безапелляционности на челе. Они и сами инстинктивно уверены в своей непогрешимости, и все кругом молчаливо изначально признают ее. Так было вот и с И. Э. Гуковским. Этот секрет знать, как надо жить, он сохранил до конца дней. В этом меня убедил и опыт двухлетних, почти ежедневных встреч в Баку в 1907-09 гг.

Он был бесспорно умен, прозаически, трезво, по-будничному умен. И если ему казалось, что истина у него в левом жилетном кармане и что в сущности ничего неясного и нерешенного в мире нет, да и быть не может, то это вовсе не говорило в пользу ограниченности его ума. Просто он был настроен по определенному камертону, и его душевная приемная станция была глуха к вибрациям чужих волн. Он был на другой, своей волне. Я скоро понял это. Однажды я спросил его мнения о небольшой книжке его брата, незадолго перед тем застрелившегося М. Э. Гуковского, «Новые веяния и настроения». Даже и тогда эта работа казалась мне слабоватой и местами ученической, по теперешнему моему разумению она теоретически беспомощна, но любопытна как ранний симптом известной идейной тревоги и морального волнения интеллигенции, не принявшей марксизм и взыскующей своего града.

Боже, какие скучные, избитые, пресные, как вываренная телятина, безвкусные доводы воздвиг И. Э. и против своего брата, и заодно против Чехова, Метерлинка, Гамсуна, Ибсена и т. д. Ох, как стало мне «и кюхельбекерно, и тошно», и даже несколько стыдно и неловко за него. Таких

квалифицированных пошлостей, таких наивно невежественных вещей, да еще с таким апломбом, не говорил даже присяжный иконоборец «Русских ведомостей» И. Н. Игнатов, даже Ольминский. Все мое благоговение, всю мою робость перед Гуковским-первородцем как рукой сняло. Я слабо сделал два-три замечания и больше никогда не возвращался к беседам с ним на такие темы.

«Искровцем» тогда он еще не был, хотя и состоял в комитете «Сибирского Союза», признавшего «Искру». Но уже к 1905 г. И. Э. стал законченным, активным большевиком. Это он сосватал «Новую жизнь» Ленину в 1905 году. Таковым я знал его и в Баку. Только непосредственного участия в нелегальной партийной работе он не принимал. Его дальнейший путь, вплоть до поста наркомфина, хорошо известен. Я после отъезда из Баку больше с ним не встречался. Впрочем, мельком видел его издали в 1918 г. в Москве, на суде, который пыталась инсценировать новая власть над Ю. О. Мартовым. Но возобновлять знакомство с И. Э. Г. мне не захотелось.

Одно имя по ассоциации вызывает другое, и это тем более, что в период, которого я касаюсь здесь, в Красноярске собралось немало народу. На прощальной фотогруппе Гуковский снят в кругу добрых 40—50 человек. Кстати, это одна из самых удачных работ Трегубова: он уловил момент, когда в ответ на какую-то мою шутку грянул дружный всеобщий хохот, исчезла напряженность, и в этот момент он нас и снял. Получилось живо и весело.

Вот Лев М. Либерман, ныне — профессор (увы, в 1939 г. бывший!) политической экономии Л. Любимов. Он пришел в ссылку из Варшавы в обществе юных еврейских девушек в возрасте 18—20 лет. В 1905—1906 гг. мне довелось работать совместно с ним в Екатеринославе (он состоял членом Александровского районного комитета). При первой же встрече с ним в 1903 г. я невольно отметил его феноменальную память. Мы езжали компанией в Есаулово, где жили тогда Вигдорчики, сам Лева, О. Б. Швец и еще целый выводок варшавян. Я стал расспрашивать Либермана о плохо знакомом мне польском и еврейском рабочем движении. Он воодушевился и прочел интереснейшую лекцию, полную цифр, фактов, диаграмм и иллюстраций на отдельных листах. Я был потрясен. А потом О. Б. мне и говорит: «Знаете, ведь это точка в точку, буква в букву лекции Трусевича (К. Залевского, очень видного когда-то с.-д.) у нас в кружке». Изумительна была сила этого дарования у Левы и, пожалуй, это самая выдающаяся черта в его интеллектуальном аппарате. Вот так же он цитировал наизусть целые страницы Маркса, Каутского, Давида и т. д. в 1906 г. на губернской партийной конференции в связи с обсуждением проекта аграрной программы партии. Завидный талант, а для профессора прямая находка. Ничего не могу сказать о научных трудах Левы, главным образом потому, что не читал их. Говорят, что они хороши, и только вот острит он неудачно. Эта слабость была у него и в Сибири. Человек он был живой, немножко тиходум и резонер. Все мы в общем любили его как хорошего товарища, и даже маленькая Сара, с которой он вечно пикировался, все же питала симпатию к «могучему Льву».

Вот рыжий Самуил Блюменфельд. Милый, я чуть было не забыл твою фамилию, да будет мне стыдно! Это был старый бундовец-рабочий, презабавно говоривший по-русски, человек без всякого образования, далеко не академик в области марксизма и политики. Но он принадлежал к числу тех очень немногих людей, которые способны, не размышляя долго и без прикидок на категорический императив, снять с плеча последнее пальто для товарища, оставшись на улице в жестокий мороз в одной рубашке. Да, я думаю, что сам бы отдал пальто даже первому нуждающемуся встречному. Но в слово «товарищ» он вкладывал совсем особый, высокий и глубокий смысл, совершенно непостижимый для наших времен, когда это понятие стало стандартно ходячим пятакком.

Вот еще бундовцы, с которыми много копий поломано из-за «Искры»: Яков Пескин, вторая звезда на их небосклоне после Девенишского,

бесспорно деловой и толковый человек; Макс Зак, хромой Носселл, Рубинштейн. Вот с.-р. Маня и Макс Нахимовичи, наши большие приятели. Вот местный поднадзорный Ф. И. Романов. Он никак не мог одобрить неприличного для женщины, уважающей семейную честь и репутацию, поведения Монны Ванны Метерлинка. Да разве вспомнить всех? Да и зачем? В огромном большинстве случаев все это явилось мимолетной встречей, недолгим знакомством. Люди приезжали, проводили в городе месяц-два-три и уезжали к себе в село или уездный город, обрывались связи и никогда больше не пересекались наши параллельные житейские линии.

IV. Иркутская интерлюдия

И в доцветании аллей дрожат зигзаги
листопада (И. Анненский).
Все вокруг, как прежде: хутор, поле...
Все как было. Только жизнь прошла
(И. Бунин).

Я, возможно, родился под какой-нибудь бродячей звездой или блуждающей кометой, ибо всю-то мою жизнь мною владело «беспокойство, охота к перемене мест». То же и в Сибири. Красноярские шефы не очень спешили со вводом меня в сколько-нибудь интересную работу, то ли за неимением ее, то ли продолжая изучать меня. А меня вдруг потянуло в Иркутск. Добиться перевода не представляло труда. Должен сказать, что в эту до-кутайсовскую эру сибирская администрация не вела со ссылкой ежедневной Столетней войны из-за каждого пустяка, как это стал неумоимо, грубо, провокационно практиковать в 1904 г. г-н Кутайсов, попав на восточносибирский престол. Переводили с места на место довольно легко, на самовольные отлучки смотрели сквозь пальцы. Надзор упал до такой степени, что не бежал только ленивый. В этом отношении, попутно говоря, мировой рекорд поставил бундовский цекист Тарас (Кац). Приехав в село, он напился чаю, взял лошадей и покинул место водворения раньше, чем становой успел узнать о прибытии нового ссыльного. Тогда еще не додумались до возложения на всю колонию круговой ответственности за побег одного из ее членов.

Словом, недели через полторы я получил разрешение на переезд в Иркутск, тогдашнюю столицу Восточносибирского края. Прожил я здесь недолго. И если в Красноярске я постепенно стал жителем и вхожим в ряд туземных домов, то в Иркутске, за отсутствием побудительных к сему импульсов и мимолетностью моего наезда, этого не случилось. Так что чем там живы были люди, сказать затруднился бы, как не ответил бы и на вопрос, каковы в городе мостовые, освещение и прочие муниципальные добродетели. Припоминаю, что незавидные, но и только.

Ничего достопримечательного не нашлось в нем для моего взора, жадного больше всего до людей. Хороша Ангара, капризная, суровая, изменчивая красавица. Великолепен музей. Но, будь Иркутск полон, как Рим или Париж, шедевров искусства, памятников мощной культуры и т. д., вряд ли и тогда это меня бы тронуло. К тому же ничего подобного в Сибири наблюдать не приходилось, и я без всякого угрызения совести, осмотрев музей и пошатавшись по городу, отдал все свое внимание людям. И в первую очередь, конечно, своему ближайшему соседству — ссылке. Она была исключительно велика и обильно разнообразна, пестра и индивидуальна.

* * *

Всю вторую свою сибирскую ссылку (1915—17 гг.) я сиднем просидел в Ермаковском и Минусинске, мельком повидав при отъезде после револю-

ции знакомый мне и ничем меня не прельщавший Ачинск. В новое изгнание я пришел зрелым человеком, растерявшим многое из тех иллюзий и мечтаний, что светили мне в мои юные годы. Все изменилось вокруг. Сибирские захолустья выросли, окрепли, создали свою культуру, свою интеллигенцию, свой хозяйственный уклад. Возникли новые города, вроде Новониколаевска, на месте прежних скромных поселков.

На свидание в тюрьму ко мне пришли с передачей муж с женой (врач), которых в 1903 г. я оставил подростками. Бывшая молодежь, среди нее и мои ученики, вышла в жизнь, в борьбу, частью пошла по нашему пути, немало перенесла лишений и выдержала испытаний в дни Японской войны, революционного опьянения и реакционного террора, мутно кровавой волной прошедшего по Сибири. Из Красноярска меня направили в Ачинск, для этапного следования в Минусинский край. Но в Ачинске конвой не вышел, и меня повезли дальше, сдали в Мариинске, откуда с обратным этапом я попал наконец в Ачинск, где и просидел в ожидании пути несколько недель.

Шла (мировая) война, безмерно более тяжкая даже в эти первые ее месяцы, чем Японская. И Сибирь остро чувствовала на себе всю ее несказанную трудность, упорство, кровопролитность. Налаженный порядок жизни начинал скрипеть, расшатываться и размываться. Времени у меня свободного было не занимать стать, и, очутившись в этих знакомых местах, я неизбежно потянулся мыслью и памятью к прошлому. Я думал то с печалью, то с улыбкой о старых годах, о неясных, полузабытых лицах и встречах, о нашей наивности и наших детских верованиях и надеждах.

1.

И прежде всего из сумеречной дали всплыли силуэты людей, к которым я всегда питал наибольшее уважение, особый пиетет и которых даже несказанно побаивался. Я говорю о стариках, встреченных мною в Иркутске, народовольцах и вообще о сохранившихся еще тогда живых носителях легенд 70—80-х гг. (а изредка и 60-х). Большинство из них прошло через каторгу, порой суровую и многолетнюю, от централов до Кары. Они знакомы были с Петропавловкой, Х-павильоном, Павиаком, равелином и прочими мрачными застенками. К ним меня тянуло неудержимо.

Мир живых людей для меня много занятнее, привлекательнее и сложнее самых запутанных диалектических построений и абстрактно-головомомных логофем. Здесь, в частности, тайна влияния незаметной, но могучей власти искусства и литературы. Только при «чтении» людей требуется еще более умения медленно и вдумчиво читать, зачастую (и даже чаще) меж строк. Этим нельзя заниматься походя, наряду с сотней других дел. Потому-то это так трудно, особенно в молодости. Я испытал это на себе. «Охота смертная, да участь горькая». Но, как бы ни была она горька, ощущение этой горечи никогда не отбивало у меня охоты еще и еще набрасываться на «чтение» своих ближних. Так было и в Иркутске, где я только тем и занимался, что ходил в гости.

Скажу откровенно: стариков я предпочитал молодым, не говоря уже о сверстниках. Рассказы Доллер и Сухомлина, Майнова и Рехневского, Люри и И. И. Попова и т. д. казались мне много содержательнее, полновеснее и поучительнее, чем беседы с иркутскими с.-д., даже с самыми знатными из них вроде д-ра В. Е. Мандельберга, д-ра И. М. Ромма, Д. Я. Логвинского и др. Впрочем, я не избегал последних, даже совсем наоборот. Попутно отмечу, что, «посмотрев и посравнив век нынешний и век минувший», т. е. нас и стариков, я понял, почему наши предшественники наложили неизгладимый отпечаток на культуру Сибири, а мы оставили еле уловимый след. Все дело в объеме, глубине и качестве культурности старого революционного мира и нашего: это небо и Земля, мы нищие по сравнению с ними. Братья М. и Н. Бестужевы и Д. А. Клеменц дали Сибири больше, чем вся новая ссылка 90—900-х годов. Что мы можем противопоставить работам Клеменца, Кона, Богораза, Иохельсона, Штейнберга, Серошевского, Попова, Виташевского, Пекарского, Худякова, Кузнецова и др. в деле изучения

этнографии, геологии, археологии и пр. Сибири? Нуль, ровным счетом нуль! И это даже в тех случаях, когда ссылка застревала в Сибири на долгие годы поселения. Но я забыл о своей ближайшей теме.

Они много претерпели, эти последние могикане самой героико-романтической саги в истории русской интеллигенции. И трудные времена, доставшиеся им в удел, согнули их спины, покрыли головы снегом, наложили морщины на некогда юные, свежие лица, выжгли блеск глаз, но оказались все же бессильными перед внутренней мощью и моральной упругостью этой удивительной генерации. Замечательное дело: здесь не так уж много имелось лидеров движения, первостепенных светил народнической системы. Все, что я говорю, в равной мере относится к жившему тут, уцелевшему от истребления середняку, к русскому средней руки революционному интеллигенту доброго старого времени. Он устоял духом перед всеми невзгодами, под всеми грозами и бурями. В молодые годы ушел он в народ с пламенной верой в близкое царство правды, свободы и справедливости на Земле, со страстной, искренней любовью к трудящимся людям и с очень легким идейным багажом. В нем находилось 5-6 излюбленных книг Бытия и Завета: Чернышевский, Берви-Флеровский, Лавров, Бакунин, может быть даже Михайловский. На этом и закончились его интеллектуальные поиски. Он застыл в тех понятиях и представлениях, которыми наградили его поводыри его молодости, и навсегда остался он верен их наставлениям и урокам.

Что же общего оказалось у меня со старшим поколением? Разница лет была весьма значительная: у многих аборигенов колонии имелись дети едва ли не моих лет. Чего я искал и что нашел? Подсознательно влекли, вероятно, их целостность и законченность, ясное равновесие духа, нетронутая простота и свежесть чувств, не омраченных сомнениями, колебаниями, разладом. Мое впечатление, и вряд ли оно ошибочно, — что старики никогда, даже в самой ранней юности, не знали двойственности личного сознания, тем более его множественности. Фаустовская смятенность, раздвоенность «я», разрыв между волей и интеллектом: ничего этого не понимало счастливое поколение, целостное, как щит Ахилла, выкованный Гефестом из одного куска. Этой драмы оно не переживало, как ни трагична была вообще его участь. Говорю, разумеется, о типе, а не об индивидуальных отклонениях от нормы.

Вот это-то и нравилось мне в них. Может быть, по закону полярности и контраста. Не чувствуя в себе такой чистой, невозмутимой, прозрачной, хотя и не слишком сложной гармонии, я тяготел к ним, должно быть, в чаянии осияния ума. Так прокаженные горели мечтой исцелиться в Силуанской купели (на Афоне) или верующие католики — от иконы Лурдской Богоматери. Пожалуй, это главное, что по моему крайнему разумению руководило мною тогда в моем увлечении экзотикой старины. Немалое место занимала и любознательность, так сказать, историко-революционного порядка. Открылась возможность ознакомиться на живых примерах с историей русской революционной мысли и политической борьбы. Умелый наблюдатель и слушатель смог бы запастись здесь немалым материалом, осветившим бы ему ход восприятия, претворения и преломления движущих идей, сил разных исторических полос в головах рядовых и незаурядных участников движения в его последовательном напластовании, преемственности и связи отдельных звеньев. Нечасто на одной улице, в одном городе звучит целая гамма политических течений и направлений, как это имело место в Иркутске.

2.

Как и в Минусинске, старики встретили студенческую молодежь чрезвычайно ласково и дружелюбно. Я не помню, кого из своих спутников и застал там кроме медика Белоусова, Вейнштока (застрелившегося вскоре в Нижнем после возвращения из Сибири), Сени Киреевского с теткой и еще 2-3 персонажей, фамилии коих запамятовал. Только к середине декабря Иркутск буквально залила толпа москвичей, понаехавших сюда из Якутии, из уездов Иркутской губ. и т. д.

Одним из излюбленных наших салонов был дом О. Н. Доллер (Шехтер), превосходной рассказчицы и милейшей старушки, быв. каторжанки. Другим центром служил дом Фриденсона, тоже быв. каторжанина, занимавшегося в Иркутске, кажется, страховым делом. Дополнительными (а может быть, основными?) магнитами в этих семьях являлись в наших глазах юные народовольческие дщери: Соня Доллер и Вера Фриденсон, кончавшие иркутскую гимназию. Нетрудно понять, что мое экспедиционное обследование в значительной мере протекало именно на этих базах. К счастью моему, сюда действительно всегда валом валил народ, и это позволило быстро перезнакомиться с большинством старой колонии.

Я не имею ни охоты, ни возможности вспомнить и помянуть всех, с кем приходилось встречаться мне в Иркутске. Да и не все хранит о тех днях моя память. Так, например, никак не могу установить точно, жили ли еще тогда в Иркутске или уже покинули его А. В. и А. П. Прибылевы? Но зато хорошо сохранил воспоминания о встречах с Н. С. Тютчевым, В. И. Сухомлиным, И. И. Майновым, Ф. Ю. Рехневским и о мимолетном, но очень врезавшемся знакомстве с Я. В. Стефановичем, бывшем в Иркутске наездами и державшемся в стороне от колонии. Может быть, здесь давали себя знать отзвуки трений между ними по каторге? Может быть, он никогда не мог освободиться от опасения, что вот-вот получит огласку его сношение с Департаментом полиции и услуги, оказанные им последнему? Тогда никому еще, вероятно (разве Тютчеву?), и в голову не приходили подобные предположения: просто Стефанович и старики не любили друг друга, как терпеть не могли они и Дейча.

Впечатление Стефанович оставил совершенно неизгладимое: огромного ума, железной воли и замкнутой, напряженной силы. По масштабу своему это был самый крупный человек иркутской, да и только ли иркутской, ссылки. Он крайне скуп был на слова вообще и на рассказы о прошлом и очень в общем сдержан в своих отзывах о быв. товарищах по каторге и работе. Этим он резко отличался от других стариков, в частности от Н. А. Люри.

Тютчев явился для нас неисчерпаемым ходячим «календарем Народной Воли», да и вообще всего прошлого нашего движения. Фактический материал он знал назубок. Память на лица, фамилии, разные мелкие эпизоды имел почти сверхъестественную. Надо отметить одну характерную его черту: он и тогда был, вернее оставался, вполне законченным народовольцем, не внесшим ни грани изменений в воззрения своей молодости. На первом месте у него стояли задачи политической борьбы на путях террора и пр. Он примыкал одно время к так наз. народоправцам (группа «Народное право», возникшая в 90-е гг., в которой состояли, между прочим, Белевский, Е. Прейс, А. И. Богданович, Ольминский и др.), т. е. шел на снятие социалистических лозунгов партии во имя объединения революционных сил на политическом перевороте и захвате власти. С.-д.-тию он ненавидел остро и страстно. И вот пока он надеялся, что наша московская молодежь поставит много адептов для с.-р. группировок, он вел себя с ними очень ласково и обходительно. Но надежда его не оправдалась, и Н. С. почти совсем перестал беседовать с нами. Отчасти мешала и его сильная глухота, но, понятно, не в ней дело.

Насколько я знаю, Ф. Ю. Рехневский, один из умнейших и культурнейших людей, которых я когда-либо встречал, принадлежал к той части «пролетариатцев» (имею в виду польскую партию «Пролетариат»), которая не стала в Сибири в резкую оппозицию к марксизму и с.-д. Но, в отличие от ряда друзей (Л. Янович, Ф. Я. Кон и др.), Р. не занял вообще никакой определенной политической позиции. Возможно, я ошибаюсь, но у меня не осталось впечатления и об идеологической близости Рехневского к «старикам», хотя лично он дружески связан был с ними, например, с Г. М. Фриденсон, И. И. Поповым. Собеседник он оказался бесподобный и очень умело держался с молодежью, ценившей его тактичность и доброжелательство при полном отсутствии генеральских замашек.

В некотором количестве они имелись у И. И. Майнова (Саратовца), очень талантливого писателя, оратора, ученого из так наз. молодых наро-

довольцев. В иркутской ссылке он не без основания считался одной из ведущих фигур народовольческого крыла. Как человек разносторонне образованный и многообразных дарований, подлинный златоуст, Майнов импонировал всем, и молодым, и старым, и держался поэтому несколько побарски свысока с малыми сими. Ясно представляю себе и сейчас тот докторальный вид, слышу тот слегка менторский тон, с каким он стал делать возражения нам, с.-д., на одном собеседовании о «Что делать»? Ленина. Но он был умен и чуток, сразу же по ответам Церетели и моему понял, что нас этим не смутит, что мы и сами-де с усами, и моментально изменил тактику. Это же сказалось у него и в другом случае, на реферате Церетели о Горьком, где Майнов полутно, весьма небрежно и даже презрительно (и вполне заслуженно, если бы народническая литературная критика, например в «Русском богатстве», не отмечена была еще большими и примитивизмом, и скукой) отозвался о марксистской литературной критике, в частности о Евг. Соловьеве и пр. Вообще, нетерпимости, несомненно, у них было не меньше, чем у нас, зеленых юнцов. С каким раздражением говорилось о якобы ренегатстве давно покойного историка В. Я. Богучарского-Яковлева, быв. народовольца, ушедшего к с.-д. Столь же резко клеймился отход от старой веры известного в свое время статистика В. С. Голубева и т. д.

3.

Политически мы в массе своей с ними разошлись. Я почти уверен, что Швейцер и Зильберберг, — ярчайшие, надо признаться, фигуры — были террористами-народниками еще до ссылки. Других же случаев я что-то не припомню. Виноват! Надо назвать еще одного: Игоря Будиловича, впоследствии видного максималиста. Остальные стали с.-д. Против факта и богам делать нечего: старики, скрепя сердце, приняли ситуацию. Социал-демократия справляла тогда свои именины, и ее триумф на волне начинающегося пробуждения широких кругов рабочего класса день ото дня становился нагляднее и бесспорнее.

Но той безмерной остроты отношений, доводившей до вражды, личных разрывов, судов и пр., которую через год я наблюдал за границей, и не только в межпартийных, но и во внутрипартийных (с.-д.) кругах и делах, Сибирь при мне еще не знала. С с.-р. мы сталкивались здесь в качестве претендентов на монопольное владение умами учащейся молодежи. В рабочем мире они успеха еще не имели, в «обществе», т. е. среди интеллигенции, служащих, ремесленников, их влияние и связи, как мне кажется, не уступали нашим, а местами и превосходили их. В Красноярске среди ссыльных с.-р. было мало. Встречал я их адептов только в ближайшей зоне влияния кружка Н. О. Коган-Бернштейн. В иркутской колонии резкой борьбы еще не замечалось. В особо торжественные минуты или в связи с какими-либо прискорбными моментами, в часы общей опасности или для отпора внешнему врагу, перед администрацией, перед обывательскими кругами мы выступали еще как дружная единая семья. Так было, например, на похоронах киевского с.-д. Д. Я. Логвинского, умершего от туберкулеза в 1903 г., стимулированного двухлетней одиночкой.

Очень удачно, тепло, по-дружески прошла встреча нового 1903 г. на квартире местной с.-д. М. А. Цукасовой, где сошлось до 150 старых и молодых ссыльных. Помню превосходную речь И. Г. Церетели от нашего имени, то огромное впечатление, которое она произвела на стариков, их горячий ответный тост. Не прошло и года, а обстановка изменилась так резко, что в Якутске в 1904 г. колония раскололась фракционно при решении насущного вопроса о протесте против репрессивного курса властей, рассорилась вконец, и в вооруженном «романовском» сопротивлении с.-р. участия не приняли, а «Революционная Россия» взяла под свою защиту этот беспримерный случай неиспользования революционного долга.

* * *

«Искру» старики очень не любили. Особенно после ее бестактной

и малодостойной полемики с с.-р. по делу о Балмашове. По извечной традиции odium (точка ненависти) их раздражения обращен был главным образом против Г. В. Плеханова. Мне кажется, что со стороны иркутян здесь до известной степени имело место забавное *qui pro quo* (недоразумение): они не улавливали многих родственных себе черточек в тактической и организационной линии искровства. Впрочем, этой близорукостью страдали, и долго спустя, не одни они. Вполне понятно, что они должны были встретить с радостью, с отцовской, так сказать, нежностью появление, рост и деятельность партии с.-р. Они знали, что в ее создании и укреплении живейшее участие принимают и заграничные, и русские их друзья, революционеры старого закала Шишко, Волховской, Гоц, Минор, Русанов, Натансон, Брешковская и др. Некоторые из этих руководителей новой партии, как, например, М. Р. Гоц, совсем недавно покинули Сибирь. Вполне возможно, что они искренно видели в партии с.-р. продолжательницу дела «Народной Воли», воплощавшую ее традиции и тактику. Во всяком случае возрождение террора и создание Боевой Организации (дело рук Гершуни) встретили со стороны иркутских старожилов горячее одобрение, питая, с одной стороны, их гордость (наше, мол, добро!), а с другой — надежды на больший успех по сравнению с народовольцами. Ряд моих знакомых стариков вскоре вошел в активную работу с.-р. партии, стал членами ее ЦК (Тютчев, Сухомлин и др.). Попутно отмечу, что при мне в Иркутске проживал и известный провокатор Н. Ю. Татаров, соперник Азефа, который и устранил его руками Савинкова и К^о.

* * *

Я был очень молод и зелен. Но все же соблазнить меня в свою веру не смогли ни опытный ловец душ Тютчев, ни златоуст Майнов, ни обаятельный Сухомлин. А предпосылки были: одно время я очень увлекался надеждынской «Свободой». Надеждин-Зеленский — рано умерший в эмиграции революционер, издававший журнал «Свобода», яркий литературный талант. Пытался создать некий синтез массового движения с индивидуальным террором как средством «подстегивания» революционной борьбы, с теорией эксцитативного террора. Думаю, что стойкий иммунитет, парализовавший все соблазны Боевой Организации и т. п., выработался у меня не столько в силу с.-д. и марксистских прививок в Москве и Сибири, сколько под бессознательным воздействием той тяги к массовому движению, которая так присуща была моему поколению.

А он, действительно, оставлял обаятельное впечатление, этот В. И. Сухомлин, участник Лопатинской группы, каторжанин-кариец, очень популярный в Иркутске вообще и среди народовольцев в частности. Я не знаю заслуг В. И. как теоретика, да вряд ли он и был им. С его интересными воспоминаниями читающая публика познакомилась много позже. Рассказывал он очень красочно и содержательно, но это многие умели делать. Он имел талант, не заботясь о том и не принимая искусственных поз, чего очень и очень, например, не лишена Брешковская: подойти к человеку, стать с ним на равную ногу и расположить к себе. Чем? Да всем: высокой, стройной фигурой, седой гривой, юношески горящими глазами, чистотой и порядочностью, веявшими от него, глубокой искренностью и убежденностью. В нем чувствовался человек долга, легко, свободно, всем существом своим отдавшийся своему опасному служению. Я случайно встретился с ним в Екатеринославе на нелегальной дискуссии в 1905 г. с с.-р. Я сразу узнал его, и мне хотелось броситься ему на шею, но веления конспирации не позволили этой выходки, и увидел я его лишь в 1917 г. в Петрограде.

4.

Сравнивая иркутян с Тырковым, я отдавал все преферансы последнему. Такого диапазона и тонкой полифоничности духовного мира, как у него, я здесь не встретил ни у кого. Были люди очень острого и сильного ума,

люди больших знаний, прирожденные политики и т.п. Но никто из иркутских сверстников Тыркова не имел его разносторонней и упорядоченной интегральности.

Нельзя сказать, что большинство иркутян, чистопробных русских интеллигентных революционеров, чрезмерно обременяло себя отвлеченным мышлением и решением сложных проблем бытия. Это не отвечало бы природе этого поколения. Его мысль прежде всего и больше всего протекала в области деловой: вопросов социально-экономических и политических, практических задач движения и партийной работы, чему как центру подчинено было все прочее. Конечно, ограниченность Давиденко, знавшего лишь одно: «Надо ставить центральный террор» — не составляла общего правила. Но почти все они носили какие-то умственные шоры.

Их оформление, становление их самосознания в юности проходило по привычной столбовой дорожке российского интеллигентского рационализма разных фасонов. Воспитавшись и застыв на Чернышевском, Лаврове, Михайловском и пр., т.е. на разных русских вариантах европейской материалистической и позитивной философии, иркутские народники с негодованием расценивали и отвергали все новейшее сложное разнообразие идейного развития, всю многогранную множественность и противоречивую утонченность философской и художественной культуры Запада. Все это в их глазах было помрачение сознания, декаданс. Знания из первых рук о всех этих течениях мысли и искусства у большинства не имелось, судили с чужого голоса, по статьям Мокиевского, Подарского, Гриневича и других в «Русском богатстве». Даже филистер Макс Нордау был больше ко двору в этих кругах, чем, скажем, Гундольф, Вальцель, Зиммель. Мы не раз скрещивали шпаги с ними по поводу тех или иных литературных явлений. Все они, понятно, следили за литературой, хотя многие, в сущности, были глубоко равнодушны к ней как к самодостаточности. Противоречия тут нет, таков русский читатель. Я считаю даже, что таков от сотворения мира всякий массовый читатель. Искусство? Поэзия? Да, это — по Державину — приятно, как «летом кислый лимонад». Или (еще хуже) это хорошо, когда полезно.

Несомненно, многие из них не только знали русскую, а кое-кто и западную литературу, но по-своему; пожалуй, высоко ценили и горячо ее любили и уважали. Однако их пресная трезвость, их плоско реалистический подход к ней, их публицистическая интерпретация всякой идеологической ценности рисовались мне чистейшей воды реакционной косностью, скатом в писаревщину, шагом назад даже от робких прозрений Белинского в эпоху его гегелизма. А между тем они были только последовательнее и принципиальнее выдержаннее, чем я. У них (беру наиболее из них, разумеется, законченных людей) имелся настольный — или карманный даже — канонический свод, такой условный код, с помощью которого легко и просто получалась дешифровка любого вопроса философии, истории мысли, искусства. Я уж не говорю о тех, которые несколько не интересовались подобными метафизическими пустяками. Вот это отечественное прохладно-легкое касание больших коренных проблем человеческого сознания уже и тогда представлялось мне варварством, писаревским нигилизмом, от которого я чувствовал себя вполне освободившимся.

Ах, как ожесточенно порой спорили мы, начав с какого-нибудь пустяка и добравшись, как дьякон у Гл. Успенского, до начала всех начал. Сколько стаканов чая опрокинули в забвении чувств и приличий на скатерть гостеприимной О. Н. Доллер. Каюсь (через 30 лет, куда ни шло!): подстегивали меня в спорах не только азарт и задор, но и светившиеся сочувствием глаза Сони и Веры. Злые языки уверяли даже, будто причины моей тяги к старикам надо искать на дне этих красивых юных девичьих глаз, а не в плоскости научной моей любознательности. Но я с негодованием, хотя подозрительно пространно, отвергал сию упрощенческую клевету друзей.

Резким контрастом ко всей этой сплоченной и в общем однородной группе ссыльных стоит фигура человека, которому не могу не уделить несколько строк. Он умер недавно, глубоким стариком, в том самом Иркутске, где я довольно часто встречался с ним. По цепко въевшейся лицемерной привычке *de mortuis nil nisi bene* (о мертвых только доброе) его некролог в «Каторге и ссылке» бесцветно иконописен, пресен и безразличен. Между тем Николай Адольфович Люри настолько индивидуальная и загадочно сложная натура, что о нем не следовало бы писать в сланцаво елейном стиле воззваний «Армии спасения».

Бывший офицер инженерных войск, каторжанин по делу «Пролетариата», товарищ Варынского, Яновича, Кона, сокамерник Дейча, Рехневского, Стефановича, Ковальского и других, без страха прошедший через военный суд и Кару, Люри жил при нас в Иркутске нелюдимым отшельником. Десятки ссыльных разной формации и различной окраски находились здесь, рядом с ним, но он явно и очевидно избегал общения с ними, уклоняясь от встреч со старыми друзьями в вообще колонистами. Он нередко бывал у А. С. Андреевской. Может быть потому, что этот человек из совсем другого мира, ни у кого не бывавший, не будил в нем никаких реминисценций о делах и явлениях, лицах и впечатлениях, которые он, видимо, хотел бы забыть. Может быть, сначала заходил потому, что мы знали по Москве его дочь Таню, о которой сам он имел достаточно отдаленное представление, а потом привык к А. С. и ходил на огонек (благо она никуда по вечерам и носу не показывала). Всякий человек ищет непременно угла, куда он мог бы прийти.

Стефанович тоже жил на отлете. Он тоже весьма недолго любил своих товарищей по каторге (что видно из его «Дневника карийца», к тому же явно смягченного при издании). Стефанович изредка делал далеко не лестные замечания по адресу кое-кого из стариков. Но ни в какое сравнение все это с настроением Н. А. Люри не идет. Двадцатилетняя полоса каторги и изгнания, разбитая молодость, развеянные надежды и мечты — все это опустошило, опалило его душу. Интересный и, по-видимому, незаурядный человек сходил со сцены стариком, правильнее сказать — больной, одинокой, искалеченной тенью. Почему? Что ворвалось в его внутренний мир и так жутко и причудливо все в нем разметало и перевернуло? Не знаю. Но его взор видел только грязную, сорную закулису людских отношений. И, очевидно, его надломленный дух ничего не мог противопоставить «тревожной пустоте оконченного дня».

5.

К практической работе нашей иркутской с.-д. организации я причастен не был и имел о ней смутное представление. Такова была одна из основных заповедей конспиративных скрижалей: не расспрашивать ни о чем, относящемся к подполью, если тебя в это не посвящают. Но косвенно я все же с этой деятельностью соприкасался, поскольку был постоянным участником кружка В. А. Гутовского-Маевского. Собрания эти являлись, в сущности, учебными занятиями активных пропагандистов или лиц, намечавшихся к привлечению к нелегальной работе. Сообразно с особым характером этой партшколы здесь никогда не касались вопросов практической работы или организационных, отдавая все свое внимание задачам и вопросам общепартийной жизни и мысли.

Викентий Анищетович Гутовский. Человек с таким экзотическим отчеством, что оно казалось шарадой или театральной кличкой, стал несколько позже известен в партийных кругах, как Евг. Маевский (или Га-э). В общезнании его звали Виктором Николаевичем, и вряд ли многие знали его настоящее имя и фамилию. Из массы интеллигентов, пришедших в с.-д. движение в конце 90-х годов (В. А. арестован в СПб в 1899 г. по делу «Группы борьбы с капиталом»), Гутовский выделялся, однако, не только сложной причудливостью своих метрических примет. И не тем, что он

полжизни провел на нелегальном положении, сидел, ссылаясь, был в эмиграции, судился и прочее. О Боже! Кто из участников революционной борьбы, людей моего поколения, не имел такого же, а зачастую и более броского и эффектного стажа? Кто из нас избежал этой тряской, зыбкой, но обязательной, как корь в детстве, тропы профессионального партийного работника? Он выделился даже и не своим трагическим концом, гибелью в расцвете сил в 1918 г. под шашками колчаковских бандитов в Омске. Нет! Его отметила судьба, богиня Фортуна, и вручила ему могучий и счастливый дар гореть всю жизнь одной страстью. Я не боюсь в данном случае упрека в употреблении стандартных, стертых образов. К нему полностью приложимы слова Лермонтова: «Он знал одной лишь думы власть, одну, но пламенную страсть». Ибо и захватанные слова теряют иногда свою обыденность и липкую избитость и загораются живым смыслом и светом.

Да! Его страстью с ранних пор стала, бесспорно, та самая (повторяя слова Гейне) «великая наука о свободе — политика», в жертву которой Маевский отдал свой ум, свои таланты и, наконец, свою жизнь. Это страшная наука! Больше любого другого божества требует она жертвоприношений, и именно кровавых. Какая другая наука пожрала столько трепещущих пылом и любовью сердец? Высушила столько пламенных, кипящих гневом и состраданием душ? Расточила столько драгоценного нервного и мозгового человеческого вещества? Перед чьим алтарем израсходовано столько огромных сил и совершено так много преступлений? Политика уступает, да и то это очень спорно, только религии в сем отношении и, вероятно, как раз потому, что сама она лежит на грани между магией и сектантским изуверством.

Маевский посвятил ей все время, все внимание, всю волю и все свои дарования. Я знал его свыше 15 лет, с конца 1902 по май 1918 г., когда мы навсегда распростились перед моим переездом в Москву и его отъездом в Сибирь. Знал не только по совместной литературно-общественной и партийно-политической деятельности. Мы были близко знакомы, как говорится, домами, нас соединяли тысячи нитей, личных связей, общих интересов, единства среды и обстановки. И все-таки я знаю лишь одну ипостась этого человека. Она закрывает в нем остальное от моего взгляда и она составляет основную, имманентную доминанту его облика. У него была и другая, личная жизнь: он был женат, и даже не один раз; у него имелась от первого брака дочь, не жившая с ним; он любил бродить по лесу и горам и пр. Но не в этом особый склад лица Маевского: *cuculus non fecit monachum* (облачение не делает монахом).

Ни в обычные трибуны, ни в митингеры, ни в площадные демагоги он не годился. Он был слишком честен, смел, правдив для вульгарного безответственного крикуна. Для митинговых выступлений у него не хватало многого: например, больших голосовых средств, «легкости в мыслях необыкновенной» и портативного идейного багажа, этих необходимых условий массового успеха. Он был бы бесподобен, несравним и вполне на своем месте как вдохновитель и руководитель большой политической газеты и, может быть, как неофициальный лидер парламентской фракции. Он не дождался ни одной из тех трибун, которые дали бы открытый выход его способностям. Он работал как политик в те годы, когда рабочий класс и его партия, его союзы и пр. владели лишь эрзац-кафедрами: маленькими газетными листками, тощими журнальчиками, кучкой депутатов в Госдуме и т. п. Наши враги и лжедрузья подсмеивались над нами, цитируя слова Чехова, сказанные по другому адресу: «Эту литературу сочиняет Белов, читает Краснов, делает отзыв Чернов». Да, отчасти это так: «семейная» была литература, каждый вершок который оплачен годами борьбы, лишений и горя тысяч и тысяч людей.

Маевский и в ней проявляется как превосходный публицист с задатками своего стиля и жанра. Это встречается в газетном мире не часто. Но развернуться до 1917 г. было негде, после революции — некогда. Отсюда впечатление бледности, незавершенности его работ; отсюда тот полупшепот мыслей, которым отмечены его писания в рамках цензуры. И вот почему

так едки, остроумны, закончены его превосходные нелегальные прокламации и листовки, выходившие в Сибири до 1905 г., и листовки, написанные в Петербурге в 1917 году.

И после мартовских дней Маевский не нашел себе места, вполне удовлетворяющего закону экономии сил и отвечающего его личным склонностям и способностям. Не стоит пытаться понять и объяснить причины такого ненормального явления, когда в нищенской среде легко бросаются людьми немалого калибра и небрежно наступают на великие ценности. Он был единицей. И пристегнуть его в качестве нуля даже и ко многозначным цифрам, а тем более к нулю, не удалось. И он работал в сфере, совершенно ему чуждой — организационного характера, т. е. как раз там, где он не имел возможности раскрыться как настоящая величина.

Он уехал в Сибирь и здесь нашел раннюю смерть на посту редактора газеты от руки лиц, тоже претендентов на корону. «Не любит споров властелин», — писал Пушкин свыше 100 лет назад. Всякий властелин, даже тот, чья и власть-то краткосрочна и эфемерна, как у Колчака, кто и властвует-то на вершковой территории. Колчаковцы тоже не любили споров, как и пушкинский Петр. И подобно деду поэта Маевский угодил «в крепость, в карантин». Но, бессильные что-либо противопоставить Евгению в области идейно-политической, офицеры властелина раздробили ему, свободному и независимому публицисту, череп. Они справедливо полагали, что это самый веский и единственно эффектный аргумент в борьбе с человеческой мыслью, страстью и убеждением... Милее нет на свете края, о Русь, о родина моя!

6.

Нельзя сказать, чтобы журфиксы Маевского в Иркутске представляли большой интерес. Даже и 30 лет назад я иногда скучал на них, а позже при воспоминании о них меня начинало клонить ко сну. В Красноярске много часов поглотили у нас споры по поводу проекта программы партии, опубликованного в «Искре», № 21. Это было продуктивное занятие, требовавшее чтения разных книг, работы мысли, вентилирования ряда сложных вопросов.

Не то в Иркутске. Изо дня в день, из недели в неделю мы штудировали абзац за абзацем, страницу за страницей «Что делать?» Ленина, при этом часто в схоластическом, диалектическом тож, разрезе. Порой наши гимназические бдения над *realia* (упражнения) к Титу Ливию или к *memorabilia* (памятные выписки) из Ксенофонта казались мне вершиною производительной затраты труда.

Я прочел это, бесспорно архиклассическое, произведение искровского периода еще в Красноярске, прочел ни один раз и многожды беседовал и спорил о нем с тамошними товарищами. Это одна из тех книг, мимо которой нельзя пройти спокойно и которая обязательно создает вокруг себя друзей и врагов. Равнодушных быть не может. Если и в 1932 г. ее чтение волнует, то что же говорить о 1902 г.? В те годы «Что делать?» изучали, комментировали, обсуждали, отвергали, оспаривали или воспринимали как новое Евангелие, как «Откровение в грозе и буре». Так было везде, в с.-д. и революционных кругах, в любом месте, куда только попадала эта брошюра. Здесь уместно вполне повторить слова Фета о Тютчеве: «Вот эта книжка небольшая томов премногих тяжелей». Впечатление от нее было потрясающее, ее влияние неотразимо и ни с чем, кроме Бельтова, не сравнимо и не соизмеримо. Всюду люди шумели, не спали ночей, ссорились, восторгались, проклинали, как это было и после появления «Монистического взгляда».

Но то, что я застал в Иркутске, превосходило все вероятия. Напомню знаменитые строки Герцена об эпидемии гегелианства в 40-е годы. Новые знакомые требовали от Герцена безусловного принятия «Феноменологии» и «Логики», и притом по их толкованию. Толковали же они о них беспрестанно. Нет параграфа во всех трех частях «Логики», двух — «Эстетики», «Энциклопедии» и пр., который не был бы взят отчаянными спорами нескольких ночей. Люди, любившие друг друга, расходились на целые

недели, не согласившись в определении «перехватывающего духа», принимали за обиды мнения об «абсолютной личности» и «ее по себе бытии».

Обращаю внимание на эти мои слова: утверждаю, что буквально та же картина повторилась у нас в 1895—96 гг. при появлении Бельтова и в 1902—03 гг. при выходе «Что делать?» Ленина. Но в спорах, борьбе и личных разрывах, рожденных плехановской работой, я участия не принимал, наблюдая за этим циклом со стороны. В потрясениях и обвалах, вызванных книгой Ленина, я одно из действующих лиц. Должен лишь признаться, что я все же не потерял в такой мере голову, самообладание и равновесие, как это случилось с Маевским и, главное, с членами его кружка, этими неопитами с.-д-тии и прозелитами революционного марксизма. Да, здесь принимали за личную и горькую обиду всякое не то что расхождение с «Что делать?», а каждую тень разногласия, намек на разночтение священных текстов. Маевский всегда был по темпераменту иконопочитателем, нетерпимым, прямолинейным, пламенным и последовательным. Тогда он являлся фанатичным патриотом всех запятых и даже опечаток в «Что делать?». И в своей несдержанности он однажды бросил резкую фразу об идиотах, которые смеют оспаривать Ленина, в связи с моими возражениями по поводу приснопамятного «внесения социализма извне». По тем суровым временам попытка критического чтения «Что делать?» могла обойтись почти так же дорого, как занесение в списки подозрительных при яковинцах.

Мы лично не разошлись с Маевским из-за этого достаточно прозрачного намека на мою умственную дефективность. Но все же его огорчало и обижало мое еретическое шатание, особенно *sub specie* (при наличии) той пламенной, непорочной и неограниченной веры, которою горели сердца его воспитанников, мучеников новой религии. В кружке не просто читали вслух и комментировали исторически, политически, социологически и философски каждую строку Ленина. Здесь дегустировали каждое слово объемистой книги, смаковали благоговейно и утонченно, боясь расплескать, пролить хоть каплю священно-живительной влаги. Так причащаются истинно верующие или, если вам больше нравится, таково отношение наркоманов к возбуждающим ядам, о чем рассказал Бодлер в «Исканиях рая».

Бывали вечера, когда мы не могли сойти с одной какой-нибудь, на первый взгляд совсем простой, фразы. Начиналось искание ее настоящего, скрытого, внутреннего смысла, словно перед нами была не кристаллически прозрачная и неумолимо ясная концепция, а творения Гераклита Темного или фрагменты непроницаемой философии вроде «Разговоров Гермеса с Татом». Вообще же ни до, ни после этих иркутских чтений мне не приходилось больше нигде встречать такого неистового радения.

7.

Не сомневаюсь: сердце Маевского трепетало от гордости, когда он глядел на свою паству. Я не помню целиком ее состава. Сколько нас было? Тоже забыл. Удержал в памяти томского студента А. А. Богословского, питерскую курсистку М. Г. Лаврову, первую жену Маевского покойную Марию Савельевну, учениц фельдшерской школы (Суссер и др.), группу семинаристов. Пожалуй, наиболее интересной фигурой среди всех выделялся Пригорный (Г. Крамольников), иркутский семинарист. Как все русские люди наследственно-духовного звания и воспитания, Гриша — натура глубоко религиозная. Изменилась только обстановка: объект веры, точка приложения пафоса, формы культа. Но существо, дух, сжигающий пламень неутомимого верования, страстное алкание веры настоящей, лютающая нетерпимость оставались неизменными. Наследники Никиты Пустосвята и Аввакума, они сгорели бы радостно на костре за одно титуло, но точно также сняли бы 200 000 голов за еретичество и сделали бы это со спокойной совестью и сознанием правоты.

Достаточно бегло перелистать работы, например Чернышевского, Щапова, Добролюбова и пр., а еще лучше их письма и дневники, достаточно познакомиться мельком с биографией радикально-революционных выходцев из духовной среды, чтобы увидеть, как сильно это горение, веками

питавшееся и поддерживающееся в определенном социально-культурном пласту. Отцы и деды верили в дву- и трехперстие, в «плотного» и «духовного» Христа; дети уверовали в атеизм, нигилизм и прочие «измы» XIX—XX веков. Вот так и Гриша Пригорный, живой, подвижный телом и духом, маленький брюнет с очками на носу. Покончив счеты с герменевтикой и гомилетикой, протистившись с Апокалипсисом и Отцами церкви, он неистощимый запас своей веры перенес на «Искру», потом прилепился душой к меньшевизму, а после Октября — к ленинизму и Коминтерну. И как некогда Савл стал из гонителя христианства его паладином и организатором Павлом, так Пригорный из необузданного большевикоеда вдруг превратился в пламенного знаменосца коммунизма. И у него, очевидно, был свой путь в Дамаск!

В 1917 г. он выпустил огромный, в трех частях, «Путеводитель по Ленину». Здесь с кропотливостью и выдержкой заправского начетчика, правнука одного из 70 знаменитых толковников, переводчиков и комментаторов Библии, Гриша бесчисленными текстами из работ Ленина доказывал, что последний, стого говоря, если не антихрист, то во всяком случае Князь лжи, еретик, схизматик, отступник от Маркса и подлежит — жаль, что сжечь нельзя! — анафеме и отлучению от единой равноапостольской восточной греко-кафолической церкви, то бишь от научного социализма и революционного марксизма. Изучил он Ленина досконально, знал на зубок, от корки до корки. Это все черты, весьма типичные для воспитанника церковной школы, где умели при случае блеснуть цитированием, буква в букву, целых страниц из Оригена, блаженного Августина и иных.

Меньше чем через год Гр. Пригорный стал членом тогда еще РКП(б), одно время участвовал в редактировании академического издания сочинений Ленина. Свой «Путеводитель» он, думается, собирал по всем книжным лавкам для аутодафе, как Некрасов свои (юношеские) «Мечты и звуки». И во всяком случае написание этой работы должно было рисоваться ему своего рода искушением св. Антония, наваждением. И может быть, в бессонные ночи он, следуя наказу монаха из «Дон Жуана» А. Толстого, бил сотни поклонов перед портретами вождей и читал вместо «Отче наш» один из памфлетов учителя против меньшевиков. Разумеется, «блажен кто верует, тепло ему на свете». Насколько же легче жить людям религиозного мышления и жизненного ощущения, чем тем, кто никогда не имел (или рано потерял) буторки веры и шишки наития. Но ведь только так, по уверению апостола, можно сдвинуть гору. Другое дело, следует ли ее беспокоить и стоит ли подобная игра столь щедро расточительного расхода свеч? Но это вопрос посторонний.

8.

Знакомство мое с виднейшими иркутскими с.-д. врачами В. Е. Мандельбергом и И. М. Роммом было совсем шапочным. Первый в 1903 г. уехал за границу и на II съезде партии представлял вместе с Л. Д. Троцким, бежавшим из ссылки в 1902 г., «Сибирский Союз»; позже он был депутатом от Сибири во 2-й Госдуме, скрылся от ареста и жил за границей. Второй, после ссылки, активной роли в с.-д. кругах не играл, оставаясь с.-д. и примыкая к меньшевикам (как и Мандельберг); умер недавно в Москве. Человек большого ума и тонкий дипломат — Посадовский по II съезду, Бюлов в просторечии — Мандельберг именно в силу последнего свойства не обладал талантом привлекать к себе молодежь. Наоборот, Ромм с его открытым, прямым характером и душевной мягкостью имел все данные для такого дела. Этого, однако, не произошло. Впрочем, я слишком недолго жил в Иркутске и потому воздержусь от суждений по сему поводу.

* * *

Отчаявшись отцедить всех комаров на всеобщих страстях у Маевского, я позорно дезертировал и отправился в приятное странствие по Сибири. Я посетил Нижнеудинск, Канск, Ачинск, Красноярск, Есаулово. Везде имелись колонии, кое-где находились мои московские приятели (в

Нижеудинске — Ахрамович). В Ачинске жила целая группа с.-д. Некоторых я немного знал по Москве. Здесь были тогда В. Г. Громан с женой Е. П., впоследствии видной меньшевичкой; будущие крупные деятели большевизма В. Л. Шанцер (Марат), И. И. Степанов-Скворцов, В. А. Базаров-Руднев; московский с.-д. Л. Н. Никифоров — племянник В. И. Засулич, вскоре умерший; известный когда-то философ-идеалист, быв. с.-д. И. А. Давыдов и др. Надо признать, что Ачинск тогда по составу своему (публика все серьезная, занимающаяся) являлся одной из самых интересных колоний. Полагаю, что Б. П. Позерну (Ст. Злобину) пребывание в ней пошло очень и очень на пользу. По крайней мере, я с удовольствием провел здесь несколько дней в беседах с Шанцером и Никифоровым.

Я прогулял бы гораздо больше, если бы не получил из Иркутска телеграмму о необходимости вернуться к пенатам. Дело было не в злоупотреблении рассеянностью органов надзора. Пробил вдруг час возвращения нашего из Сибири! По «высочайшему повелению» 130 студентов и «штатских» выслали в Сибирь как возможных и невозможных зачинщиков и руководителей движения. По «высочайшему же повелению» от 6 декабря 1902 г. нам сокращали теперь по категориям срок и предоставляли право возвращаться в Европ. Россию минус университетские и некоторые другие города для отбытия там гласного надзора. Это право, как водится, Департамент полиции превратил в обязанность, в повинность, запретив нам проживание в пределах всей Сибири (кроме лиц, призванных на военную службу: Сбитников, Свешников, Таскин, Колокольников и др.). Все мы должны были в кратчайший срок покинуть чужбину и ехать домой. Даже аборигенам с трудом разрешалось отбывать срок на родине.

И вот я сделал одну из самых больших глупостей в своей жизни, оставил Иркутск, сменив его на Красноярск. Как уговаривал меня Маевский! Даже соблазнял посылкой на II съезд, к которому тогда начинали уже готовиться. При некоторой настойчивости я добился бы права прожить до конца надзора в Иркутске. Ведь все равно я покинул Сибирь лишь ровно через год. Как жаль, что я мало (или безмерно?) честолюбив и заманчивая перспектива поездки в Европу меня не прельстила. Вся жизнь пошла бы по-иному, поддайся я соблазнам сирены в лице Маевского. Мы дружески расстались с ним до новой встречи в 1905 г. в Женеве.

В огромно же своем большинстве знакомства, завязанные в Сибири, оборвались после моего побега. Получил ли я в Иркутске то, что искал? В какой мере удовлетворила меня моя жатва? Понятно, в минимальной. Довольно отчетливо представляя, что именно меня занимает и чего я ищу, я совсем смутно понимал, как же извлечь желанный икс? С какого конца подойти? Я хотел знать, что привело их, старых народовольцев, каждого порознь, в революцию, как достигли они этой своей целостной полноты и непоколебимости духа. И, теперь я это отчетливо сознаю, я не сумел получить достаточно ясного ответа. Но кое-что, и все же довольно полезное существовавшее, я отметил и отложил в сердце своем. Я уезжал, увозя воспоминания, которые, как мне казалось (и я не ошибся), надолго предохранят меня от разочарований и скептицизма.

* * *

«Но теперь его сердце постарело, и все цветы в нем завяли, и потухли солнечные лучики, умерла даже и прекрасная греза о любви, в бедном сердце нет ничего, кроме мужества отчаяния и скорби, и выскажу теперь самое горестное — да, это мое сердце». Да, нет цветов, нет солнечных лучиков, нет бодрости в моем сердце, есть только грусть и горечь, как у Гейне, и они становятся тем сильнее, чем напряженнее вглядываюсь я в прошлое и чем острее переживаю мысленно дальние впечатления. К тому же в одиночке так холодно! Валенки и пальто не греют стареющих костей и хладеющую, некогда столь бурную кровь.

Осень 1936 года.

(Продолжение следует)